

Элиф Батуман

# Бесы

*Приключения русской литературы  
и тех, кто ее читает*

Издательство АСТ  
Москва

УДК 821.161.1.09  
ББК 83.3(2Рос=Рус)  
Б 28

**Elif Batuman**  
***The Possessed:***  
***Adventures with Russian Books and the People Who Read Them***

*Печатается с разрешения автора  
и литературного агентства The Wylie Agency (UK), Ltd.*

**Батуман, Элиф.**

Б 28 Бесы. Приключения русской литературы и людей, которые ее читают/ Э. Батуман; пер. с англ. Глеба Григорьева. — Москва : Издательство АСТ, 2018. — 320 с. — (Литературное путешествие).

978-5-17-111680-4

«Лишний человек», «луч света в темном царстве», «среда заела», «декабристы разбудили Герцена»... Унылые литературные штампы. Многие из нас оставили знакомство с русской классикой в школьных годах — натянутое, неприятное и прохладное знакомство. Взрослые возвращаются к произведениям школьной программы лишь через много лет. И удивляются, и радуются, и влюбляются в то, что когда-то казалось невыносимой, невероятной ерундой.

Перед вами — история человека, который намного счастливее нас. Американка Элиф Батуман не ходила в русскую школу — она сама взялась за нашу классику и постепенно поняла, что обрела смысл жизни. Ее увлекательная и остроумная книга дает русскому читателю редкостную возможность посмотреть на русскую культуру глазами иностранца. Удивительные сплетения судеб, неожиданный взгляд на знакомые с детства произведения, наука и любовь, мир, населенный захватывающими смыслами, — все это ждет вас в уникальном литературном путешествии, в которое приглашает Элиф Батуман.

**УДК 821.161.1.09**  
**ББК 83.3(2Рос=Рус)**

978-5-17-111680-4

© 2010, Elif Batuman  
© Григорьев Г., перевод на русский язык, 2018  
© Оформление. ООО «Издательство АСТ», 2018

## Предисловие к русскому изданию

Дорогие читатели! Эта книга вышла в США в 2010 году под названием «The Possessed» («Одержимые»). Именно так английские переводчики некогда озаглавили роман Ф.М. Достоевского «Бесы». (Вдохновением для моей книги стало замечательное, как мне казалось, сходство между сюжетом Достоевского и некоторыми событиями, происходившими на факультете сравнительного литературоведения в Стэнфордском университете, когда я была там аспиранткой.) Название «Одержимые» мне понравилось тем, что оно отсылало к Достоевскому — но при этом сохранялась определенная дистанция. Поскольку теперь моя книга выходит на русском языке как «Бесы», эта дистанция исчезла.

Странно и, честно говоря, немного неловко публиковать книгу в России под названием романа Достоевского. Боюсь показаться наглой самозванкой. Впрочем, «Бесы» Достоевского начинаются, как вы знаете, с эпиграфа из Евангелия от Луки о том, как бесы «вошли в свиней; и бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло». То есть существенная характеристика этих бесов — свобода передвижения. Они могут оказаться в самых неожиданных местах. Значит, почему бы и не здесь?

Большая часть этой книги была написана в период с 2005 по 2007 годы в аспирантуре. Повествуемые

события же произошли и того раньше: с 1990-х годов, когда я начала изучать русский язык, по 2006 год, когда я отправилась в Санкт-Петербург от журнала «Нью-Йоркер», чтобы описать реконструкцию Ледяного дома Анны Иоанновны. Тогда я даже не могла себе представить, что однажды мои очерки будут опубликованы на русском языке. Этот перевод для меня — великая честь...

Как вы, незнакомые новые читатели, отнесетесь к моей книге? Думая об этом, я испытываю некоторую тревогу, ощущение несвоевременности; как будто эта книга появляется не вовремя, некстати. Впрочем, для меня это не впервые. Я с детства чувствовала себя «не вовремя» и «не очень кстати». Возможно, это одна из причин, почему я полюбила русскую литературу. По словам замечательного критика Виктора Шкловского, «русская великая проза опоздала сравнительно с западноевропейской в своем появлении, но, появившись, осознала себя и мир по-своему». Вот именно этот мир — неожиданный, изумительный, ироничный, непривычный — меня очаровал.

Многое изменилось за последние годы: как в моей жизни, так и вокруг. Например, в моей книге я сравнивала русскую литературу с турецкой как произведения двух разных миров. Но потом, работая журналисткой «Нью-Йоркера» в Турции, родной стране моих родителей, я везде узнавала бесов Достоевского. И я поняла, что русская литература не так уж далека и от турецкой реальности, — но это предмет для будущей книги (если будем живы).

Книга, которая перед вами сейчас, — не столько о моих нынешних мыслях о русской литературе,

сколько о том, как становишься писателем. Мой путь я прошла, робко следуя за русской литературой.

Думая о событиях, описанных в книге, я вспоминаю о терпении и щедрости множества людей: в университетах и вне их, от Калифорнии до Москвы и Самарканда. Так что эта книга имеет еще одно значение, которого я не осознавала, когда ее писала. Это книга о щедрости и понимании, о том, как общение становится возможным, несмотря на препятствия и ограничения. А это ведь всегда вовремя и кстати?

*Элиф Батуман  
Бруклин  
Август 2018 г.*

## Введение

В книге Томаса Манна «Волшебная гора» молодой человек по имени Ганс Касторп приезжает на три недели в швейцарский санаторий навестить больного туберкулезом кузена. У самого Касторпа туберкулеза нет, но он задерживается там на семь лет. Сюжет «Волшебной горы» сродни истории ее создания: Манн сел писать рассказ, а вышел у него роман на тысячу с лишним страниц. Несмотря на сложность книги, ее центральный вопрос весьма прост: как получается, что человек без туберкулеза на целых семь лет застрял в туберкулезном санатории? Я нередко задаю себе тот же вопрос: как получилось, что человек без особых академических амбиций провел семь лет в калифорнийском пригороде, изучая русский роман как литературную форму?

В «Волшебной горе» это объясняется любовью. Посещая кузена, Касторп до безумия влюбился в одну из пациенток — жену русского офицера. Ее выступающие скулы и серовато-голубые «киргизские глаза»\* напомнили Касторпу, как однажды в школе он уже испытал влечение к Славянскому, а именно — к боготворимому им старшему ученику, у которого Касторп в одну из счастливейших минут жизни попросил карандаш. Глаза русской дамы «жутко и ошеломляюще напоминали» глаза того ученика; на самом деле, уточняет Манн, «„напоминали“ — совсем не то сло-

---

\* Т. Манн. Волшебная гора. Здесь и далее — пер. В. Станевич (примеч. пер.).

во, — это были те же глаза». Под их гипнотическим влиянием охваченный страстью Касторп узнает о самоварах, казаках и русской речи, которую Манн колоритно характеризует как «нечеткую, страшно чуждую, бескостную речь с востока». Однажды Касторп посещает лекцию «Любовь как болезнетворная сила», где санаторный психоаналитик ставит диагноз всей своей аудитории, называя присутствующих жертвами любви. «Симптомы болезни — это замаскированная любовная активность, и всякая болезнь — видоизмененная любовь». Касторпу придется осознать истинность сказанного. Любовь к этой замужней женщине столь огромна, что у него начинается горячка, а на легком выявляются влажные очажки. Именно из-за этих очажков — реальных или воображаемых — в купе с надеждой хотя бы мельком видеть в столовой возлюбленную он и остается на Волшебной горе.

Безусловно, наши истории очень разные. Но есть и некоторое сходство. Те семь лет, что я провела в Стэнфорде на отделении сравнительного литературоведения, — тоже от любви и от того, что меня очаровало Русское. Эта любовь наметилась еще в школьные годы благодаря случайному знакомству с одним русским, и позднее она получила развитие в академической обстановке.

Первым знакомым мне русским был мой преподаватель в Манхэттенской музыкальной школе, куда я по субботам ходила на скрипичные классы. Максим носил черные свитера с высоким воротником, играл на оранжевой скрипке с мягким тембром и производил впечатление постоянной погруженности в размышления и взвешивания, выходявшей за рамки обычного мыслительного процесса. На одном из занятий, например, он сказал, что должен уйти на десять минут раньше, и затем потратил *целых десять минут*

на витиеватые логические построения вокруг того, почему его ранний уход никак не скажется на моем учебном процессе.

— Скажи мне, Элиф, — воскликнул он, достигнув какой-то уже невероятной степени возбуждения. — Покупая платье, ты выбираешь самое красивое... или же то, на которое ушло больше ткани?

В другой раз Максим велел мне ознакомиться с некой особенной советской записью скрипичных концертов Моцарта. Сидя в деревянной библиотечной кабине, я прослушала все пять концертов подряд — текучее, элегантное исполнение, где через напряженные скрипичные пассажи проглядывает, казалось, весь вселенский надрыв земной жизни Моцарта. Слушая, я осознала, что меня отвлекает коробка диска — слегка расплывчатое фото солиста с поворотом лица в три четверти: он внешне был буквально неотличим от моего учителя. Строгая осанка, изогнутая форма рта, сосредоточенные меланхоличные брови — все в точности такое же. Его даже звали Максим, хотя фамилия другая.

На следующей неделе Максим спросил меня: не заметила ли я в этом скрипаче что-нибудь необычное?

— Например? — спросила я.

— Ну, скажем, внешность. В Московской консерватории мне иногда говорили, что мы с ним похожи, очень сильно похожи. Больше, чем братья.

— Вообще-то да, мне по фотографии тоже так показалось.

После этой невинной реплики его лицо вдруг померкло, словно на голову накинута черная ткань.

— Ничего, ничего, — чуть ли не сердито произнес он.

Самый, наверное, странный эпизод с Максимом произошел на годовых экзаменах в музыкальной школе. В течение нескольких недель перед экзаменами он постоянно менял список этюдов и гамм, которые

я должна подготовить, однажды даже позвонил посреди ночи, чтобы сообщить об очередном изменении.

— Мы должны быть как следует подготовлены, поскольку не знаем, кто будет в комиссии, — постоянно твердил он. — Неизвестно, что именно тебя попросят сыграть. Мы можем, конечно, догадываться, но не знаем наверняка.

Когда настал тот самый день, меня вызвали в экзаменационную, где стояли рояль и длинный стол, во главе которого, председательствуя над двумя младшими преподавателями, восседал не какой-то незнакомый член комиссии, а *Максим собственной персоной*.

— Здравствуй, Элиф, — приветливо произнес он.

Подобные мистификации могут сильно действовать на молодых людей, а в моем случае наложилось еще и то, что я как раз закончила читать «Евгения Онегина», и меня особенно взволновал сон Татьяны — знаменитый фрагмент, где она видит себя пересекающей заснеженную поляну, «печальной мглой окружена», когда ее начинает преследовать медведь. Он сгребает пушкинскую героиню в охапку, та теряет сознание и приходит в себя, оставленная медведем в сенях какого-то дома, на пороге комнаты, откуда доносятся крики и звон стаканов, «как на больших похоронах». Через дверную щель она видит длинный стол, окруженный пирующими чудищами: танцующая мельница, полужуравль-полукот, а во главе стола сидит — как с безотчетным ужасом понимает Татьяна — не кто иной, как Евгений Онегин.

Татьянин сон претворяется в жизнь на злополучных именинах, где Онегин, движимый, очевидно, одной лишь скукой, разбивает ее сердце и роковым образом ссорится со своим юным другом Ленским. (Несколько лет спустя в Москве Онегин влюбится в Татьяну, но будет уже поздно. Любя его по-прежнему, она теперь замужем за старым генералом.) Я читала «Онегина»

в английской набоковской редакции и была поражена замечанием Набокова о том, что язык в «Сне» не только содержит «отголоски ритмов и выражений»\* того, что испытывала Татьяна в одной из предыдущих глав, но также и предопределяет будущее: «Гости, которые в реальной жизни Татьяны присутствуют на ее именинах, а позднее и на балах в Москве, как бы предвосхищены мрачными образами сказочных упырей и монстров-гибридов — порождениями ее сна», — пишет Набоков.

Мне показалось, что скрипичная комиссия тоже была предвосхищена и порождена Татьяниным сном и что появление Максима во главе этой комиссии послужило неким тайным предзнаменованием.

Хоть я и не бросилась немедленно искать ответы в национальной литературе Максима, этот случай еще хранился где-то на задворках моего сознания, когда однажды летом у бабушки в Анкаре я обнаружила «Анну Каренину» в «пингвиновском» издании семидесятых годов. У меня как раз кончились все английские книжки, и я была рада, что мне попалась такая толстая. Представьте, сколько времени понадобилось Толстому, чтобы написать ее! Вместо фрисби или барбекю он предпочитал проводить время именно так и не жалел об этом. Никого из персонажей «Анны Карениной» — в отличие от меня — не угнетает тирания праздной жизни. Все досужие занятия в романе — коньки, балы, бега — прекрасны, исполнены достоинства и занимают в сюжете свое место.

Следующие две недели я провалялась на бабушкином супербуржуазном диване розового бархата, поглощая несметные количества винограда и запоем читая. «Анна Каренина», казалось, начинается ровно там,

---

\* В. Набоков. Комментарии к «Евгению Онегину». Пер. А. Николюкина (примеч. пер.).

где кончается «Онегин», в том же самом мире, словно люди в оперном театре — это тоже порождение Татьяниного сна, атмосфера которого уже успела просочиться в опыт, полученный Анной на бегах и в застрявшем поезде. Это тот же мир, тот же дух, только все — крупнее, будто детально выполненный кукольный домик превратился в дом настоящий с длинными коридорами, сверкающей обстановкой, старым заросшим садом. Вновь появляются элементы из «Онегина»: снег во сне, роковой бал, револьвер, медведь. Словно весь «Онегин» был сном Анны, которая в своей собственной жизни воплотила несбывшуюся Татьянину судьбу<sup>1</sup>.

«Анна Каренина» — это совершенный роман, он невообразим, монолитен, он находится в переходной зоне между природой и культурой. Как простой смертный смог написать книгу столь большую и в то же время столь маленькую, столь серьезную и столь легкую, столь странную и столь естественную? Героиня впервые появляется только в восемнадцатой главе, а действие еще девятнадцати глав происходит уже после ее гибели. Мужа и любовника Анны зовут Алексеями. Прислугу и дочь Анны зовут Аннами, а сын Анны и единокровный брат Лёвина — оба Сергеи. Повторение имен показалось мне незаурядной, удивительной, жизненной деталью.

Мать обрадовалась, увидев, что я читаю «Анну Каренину», как оказалось, ее старую книжку. «Теперь ты мне расскажешь, что там имеется в виду», — сказала она. Мать часто спрашивала меня о том, «что имеется в виду» — в книгах, фильмах, репликах сотрудников. (Она работала в медицинском центре Университета штата Нью-Йорк, где людям, похоже, свойственны самые непостижимые высказывания.) Этими вопросами она подразумевала, что я, в отличие от нее, — носитель языка. На самом деле мать в Анкаре с раннего детства училась в американской школе, и у нее прекрасный ан-

глийский; лишь однажды я действительно смогла ответить на ее вопрос, сказав, как буквально переводится одна английская фраза. (Это была фраза «до упаду».) Во всех же остальных случаях — включая и теперешний «Что имеется в виду?» — это означало что-то вроде: «Какое отношение ко мне или к людям вроде меня кроется за этими словами?» Мать жила в уверенности, что всякий человек тайно питает положительные или отрицательные базовые чувства к другим и выдает эти чувства своими словами и поступками. Если твоя фотография вышла ужасной, то это — признак того, что фотографу ты на самом деле не нравишься.

— Так что там имеется в виду? — спросила мать, когда я закончила читать. — Что Толстой хотел сказать? Что Вронский не смог полюбить Анну по-настоящему?

Мы сидели на кухне в Анкаре, городе, имеющем с «Анной Карениной» анаграммную связь, и пили то, что турки называют «турецким чаем», — очень крепкий и сладкий «Липтон», который подают в тюльпановидных чашечках.

— Думаю, — сказала я, — что Вронский любил Анну по-настоящему.

— Он не мог любить ее достаточно, иначе она бы себя не погубила. Этого бы попросту не произошло. — Теория матери состояла в том, что на свете есть два типа мужчин: те, которые женщин по-настоящему любят, и те, которые нет. Вронский, мужчина из тех, кто любит женщин, был поглощен Анной, Анна была поглощена им, но в глубине души он не был ей предан в том смысле, в каком Лёвин, мужчина, который женщин по-настоящему и не любит, был предан Кити.

— В этом что-то есть, — согласилась я.

— Может, Толстой хотел сказать, что для женщин лучше быть с такими, как Лёвин? Что Кити сделала верный выбор, а Анна — нет?

— Не знаю, — ответила я. И я на самом деле не знала. Оглядываясь назад, можно сказать, что я к тому времени уже приобрела некоторые представления о литературе. Я верила, что в ней действительно что-то «имеется в виду» и что интерпретация зависит от лингвистической компетентности — от железного закона хомскианцев об интуиции носителя языка. («Ты же по-настоящему говоришь на английском», — с восхищением говорила мать, беседуя со мной о книгах.) Вероятно, поэтому я и решила, что, когда пойду в колледж, займусь лингвистикой; у меня даже мысли не было изучать литературу. Помню, я твердо верила, что в лучших романах материал и вдохновение черпаются исключительно из жизни, а не из других книг, и, следовательно, мне, начинающему писателю, желательно читать поменьше романов.

Меня не интересовали и собственные познания из области теории и истории литературы. В те дни общепринятой считалась идея, будто «теория» вредна писателям, она заражает их враждебностью к языку и превращает в постмодернистов; что, мол, теория может предложить, кроме как свести роман к набору малопривлекательных фактов о правительствах или к поверхностному кайфу, который получаешь, наложив «Гордость и предубеждение» на принцип неопределенности? Что до истории литературы, мне она казалась дисциплиной книжной и непритязательной. Зачем так напрягаться, доказывая вещи, которые никто и никогда не станет обсуждать в первую голову, — как, например, влияние одного писателя на другого, влияние более раннего — на того, кто жил позднее?

У меня в те дни не было ни понимания истории, ни желания его приобрести. Мне казалось узколобым давать приоритет тем или иным историческим событиям просто на основании того, что все вышло так, а не иначе. К чему быть рабом субъективной истины? Истина меня

не волновала, меня волновала красота. Мне понадобились многие годы, понадобился опыт прожитой жизни, дабы осознать, что эти два понятия суть одно и то же.

Тем временем я стала заниматься лингвистикой. Я собиралась изучить общий механизм работы языка, саму его чистую форму. Как обязательный иностранный я выбрала начальный русский: может, однажды смогу рассказать матери, что Толстой хотел сказать.

Гвоздем в гроб моей лингвистической карьеры стал, наверное, курс философии языка, куда я записалась той зимой. Целью курса было сформулировать теорию, которая объяснила бы марсианину, «что именно мы знаем, когда знаем язык». Более беспредметного и тоскливого проекта я не могла вообразить. Как выяснилось, решение состоит из серии тезисов, построенных по формуле «Утверждение „снег белый“ является истинным, если снег бел». Профессор — сухопарый логик с дикой гривой рыжих волос и нездоровым интересом к марсианам — писал это предложение на доске едва не на каждом занятии, и мы должны были обсудить, почему оно нетривиально. А снег за окном становился все глубже и глубже. *Вы, марсиане, которые так любят форму и логику, что делаете вы здесь, в такой дали от дома?*

В отличие от философии языка и других моих курсов, включая психолингвистику, синтаксис и фонетику, начальный русский показался мне глубоко человеческой дисциплиной. Ведь я ожидала, что лингвистика (общая наука о языке) будет вроде истории с сюжетом, а русский (изучение конкретного языка) — вроде набора правил, но на деле все оказалось ровно наоборот. Первые несколько месяцев на уроках русского мы проходили оригинальный текст под названием «История Веры». Начинался он с того, что студентка-физик выпускного курса Вера идет к своему

парню, однокашнику Ивану. Того нет дома, а ее ждет записка «Забудь меня». «Почему мы никогда его не понимали?» — вздыхает отец Ивана и захлопывает дверь у Веры перед носом. В этих первых главах использовался удивительно небольшой набор слов и простая грамматика. По мере развития сюжет заполнялся деталями — вместе с недостающими падежами и временами, — то есть знание сопровождалось средствами его выражения. Благодаря этому начальный русский в моих глазах проявил себя как совершенный язык, где форма идеально отражает содержание.

Как выяснилось, Иван сбежал в Сибирь, чтобы работать в лаборатории у дяди, и там женился. Вера поехала к нему и в такси по дороге из новосибирского аэропорта влюбилась в другого физика. В последней главе Вера на физической конференции представляет доклад, который признают «последним словом в науке». Присутствующий на конференции Иван поздравляет ее, он готов дать объяснения своим поступкам, но Веру это больше не заботит.

Татьяна и Онегин, Анна и Вронский, Иван и Вера — на каждой ступени оказывалось, что природа любви и загадки человеческого поведения переплетены с русским языком. Эта ассоциация стала еще сильнее, когда я сама влюбилась в одного из однокашников по русским занятиям, студента-математика, который еще в детстве за «железным занавесом» немного изучал русский. По-русски его звали Валя — близко по звучанию к его венгерскому имени. Он учился на последнем курсе и собирался провести лето в Будапеште, а затем отправиться в аспирантуру Беркли. Я же училась только на первом, и поэтому было понятно, что после июня мы уже никогда больше не увидимся, но Валя каким-то образом нашел мне летнюю работу в благотворительной организации, которая отправля-